

Погожий день

О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО
В ЖИЗНИ ЛЮБИЛ ИСКУССТВО

Однажды летним полднем Джордж и Элис Смит приехали поездом в Биарриц и уже через час выбежали из гостиницы на берег океана, искупались и разлеглись под жаркими лучами солнца.

Глядя, как Джордж Смит загорает, развальясь на песке, вы бы приняли его за обыкновенного туриста, которого свеженьким, точно салат-латук во льду, доставили самолетом в Европу и очень скоро пароходом отправят восвояси. А на самом деле этот человек больше жизни любил искусство.

— Ну вот...

Джордж Смит вздохнул. По груди его поползла еще одна струйка пота. Пусть испарится вся вода из крана в штате Огайо, а потом наполним себя лучшим бордо. Насытим свою кровь щедрыми соками Франции и тогда все увидим глазами здешних жителей.

А зачем? Чего ради есть и пить все французское, дышать воздухом Франции? Да затем, чтобы со временем по-настоящему постичь гений одного человека.

Губы его дрогнули, беззвучно промолвили некое имя.

— Джордж? — над ним наклонилась жена. — Я знаю, о чем ты думаешь. По губам прочла.

Он не шевельнулся, ждал.

— Ну и?..

— Пикассо, — сказала она.

Он поморщился. Хоть бы научилась наконец правильно произносить это имя.

— Успокойся, прошу тебя, — сказала жена. — Я знаю, сегодня утром до тебя докатился слух, но поглядел бы ты на себя: опять глаза дергает тик. Пускай Пикассо здесь, на побережье, в нескольких милях отсюда, гостит у друзей в каком-то рыбацьем поселке. Но не думай про него, не то наш отдых пойдет прахом.

— Лучше бы мне про это не слышать, — честно признался Джордж.

— Ну что бы тебе любить других художников, — сказала она.

Других? Да, есть и другие. Можно недурно позавтракать натюрмортами Караваджо — осенними грушами и темными, как полночь, сливами. А на обед — брызжущие огнем подсолнухи Ван Гога на мощных стеблях; их цветение постигнет и слепец, пробежав обожженными пальцами по пламенному холсту. Но истинное пиршество? Полотна, которыми хочешь по-настоящему насладиться? Кто заполнит весь горизонт от края до края, словно Нептун, встающий из вод в венце из алебаstra и коралла: когтистые пальцы сжимают, подобно трезубцу, большущие кисти, а взмах огромного рыбьего хвоста обдаст летним ливнем весь Гибралтар, — кто, если не создатель «Девушки перед зеркалом» и «Герники»?

— Элис, — терпеливо сказал Джордж, — как тебе объяснить? Всю дорогу в поезде я думал: боже милостивый, ведь вокруг — страна Пикассо!

Но так ли, спрашивал он себя. Небо, земля, люди; тут румяный кирпич, там ярко-голубая узорная решетка балкона; и мандолина, будто спелый плод, под несчетными касаниями чьих-то рук, и клочки афиш — летучее конфетти на ночном ветру... Сколько тут от Пикассо, а сколько — от Джорджа Смита, озирающего мир неистовым взором Пикассо? Нет, не найти ответа. Этот старик насквозь пропитал Джорджа Смита скипидаром и олифой, преобразил все его бытие: в сумерки сплошь Голубой период, на рассвете сплошь — Розовый.

— Я все думаю, — сказал он вслух, — если бы мы отложили денег...

— Никогда нам не отложить пяти тысяч долларов.

— Знаю, — тихо согласился он. — Но как славно думать, а вдруг когда-нибудь это удастся. Как бы здорово просто прийти к нему и сказать: «Пабло, вот пять тысяч! Дай нам море, песок, вот это небо, дай что хочешь, из старого, мы будем счастливы...»

Выждав минуту, жена коснулась его плеча.

— Иди-ка лучше окунись, — сказала она.

— Да, — сказал он, — так будет лучше.

Он врезался в воду, фонтаном взметнулось белое пламя.

До вечера Джордж Смит окунался и вновь и вновь выходил на берег со множеством других,

то опаленных жаркими лучами, то освеженных прохладной волной, и наконец, когда солнце уже клонилось к закату, эти люди с кожей всех оттенков, кто — цвета омара, кто — жареного цыпленка, кто — белой цесарки, устало поплелись к своим отелям, похожим на свадебные пироги.

На опустелом берегу, что протянулся на мили и мили, остались только двое. Один — Джордж Смит с полотенцем через плечо, готовый совершить вечерний обряд.

А издали, в мирном безветрии, шел по пустынному берегу еще один человек, невысокий, коренастый. Он загорел сильнее, солнце окрасило его бритую голову в цвет красного дерева, на темном лице светились глаза, ясные и прозрачные, как вода.

Итак, вот он, берег — сцена перед началом спектакля, и через считанные минуты эти двое встретятся. Снова, в который раз, судьба кладет на чаши весов потрясения и неожиданности, встречи и расставания. А меж тем два одиноких путника вовсе не задумывались о потоке внезапных совпадений, подстерегающих каждого во всякой толпе, в любом городе. Ни тому, ни другому не приходило на ум, что, если осмелишься погрузиться в этот поток, можно ухватить полные горсти чудес. Подобно многим, они только отмахнулись бы от такого вздора и преспокойно остались бы на берегу, не столкни их в поток сама Судьба.

Незнакомец остановился в одиночестве. Огляделся, увидел, что один, увидел чарующие воды за-

лива и солнце, утопающее в последнем многоцветье дня, потом обернулся и заметил на песке щепочку. То была всего лишь тонкая палочка из-под давно растаявшего лимонного мороженого. Он улыбнулся и подобрал ее. Опять огляделся и, уверясь, что он здесь один, снова наклонился и, бережно держа палочку, легкими взмахами руки стал делать то, что умел лучше всего на свете.

Он стал рисовать на песке немыслимые фигуры. Набросал одну, шагнул дальше и, не поднимая глаз, теперь уже весь поглощенный работой, нарисовал еще одну, потом третью, четвертую, пятую, шестую...

Джордж Смит шел по берегу, оставляя следы на песке, глядел вправо, глядел влево, потом увидел впереди незнакомца. Подходя ближе, Джордж Смит увидел, что человек этот, бронзовый от загара, низко наклонился. Джордж Смит подошел еще ближе и понял, чем тот занимается. И усмехнулся. Ну да, конечно... этот тип на берегу — сколько ему, шестьдесят пять, семьдесят? — что-то там выпцарапывает, чертит. Песок так и летит во все стороны! Нелепые образы так и разлетаются по берегу! И так...

Джордж Смит сделал еще шаг — и замер.

Незнакомец рисовал, рисовал и, видно, не замечал, что кто-то стоит у него за плечом, рядом с миром, возникающим под его рукой на песке. От всего отрешенный, он был одержим вдохновением: взорвись в заливе глубинные бомбы, даже это не остановило бы полета его руки, не заставило бы обернуться.

Джордж Смит смотрел на песок. Долго смотрел, и вот его бросило в дрожь.

Ибо здесь, на гладком берегу, возникли греческие львы и козы Средиземноморья и девы с плотью из песка, словно тончайшая золотая пыльца, играли на свирелях сатиры и танцевали дети, разбрасывая цветы дальше и дальше, скакали следом по берегу резвые ягнята, перебирали струны арф и лир музыканты, единороги уносили юных всадников к далеким лугам и лесам, к руинам храмов и вулканам. Не уставала рука одержимого, он не разгибался, охваченный лихорадкой, пот катил с него градом, и струилась непрерывная линия, вилась, изгибалась, деревянное стило металось вверх, вниз, вдоль, поперек, кружило, петляло, чертило, шуршало, замирало и несло дальше, словно эта неудержимая вакханалия непременно должна достичь блистательного завершения прежде, чем волны погасят солнце. На двадцать, на тридцать ярдов и еще дальше пронесли вереницей загадочных иероглифов нимфы, дриады, взметнулись струи летних ключей. В закатном свете песок стал точно расплавленная медь, несущая послание всем и каждому, пусть бы читали и наслаждались годы и годы. Все кружило и замирало, подхваченное собственным вихрем, повинуюсь своим особым законам тяготения. Вот пляшут на щедрых гроздьях дочери виноградаря, брызжет алый сок из-под ступней, вот из курящихся туманами вод рождаются чудища в кольчуге чешуи, а летучие паруса облаков испещрены узорчатыми воздушными змеями... а вот еще... и еще... и еще...

Художник остановился.

Джордж Смит отпрянул и застыл.

Художник поднял глаза, удивленный неожиданным соседством. Постоял, переводя глаза с Джорджа Смита на свое творение, что протянулось по песчаной полосе, словно следы праздного пешехода. И наконец с улыбкой пожал плечами, словно говоря: смотрите, что я наделал, видали такое ребячество? Ведь вы меня извините? Рано или поздно всем нам случается свалить дурака... может быть, и с вами бывало? Так простим старому сумасброду эту выходку, а? Вот и хорошо!

Но Джордж Смит только и мог смотреть на невысокого человека с высмугленной солнцем кожей и ясными зоркими глазами да единственный раз еле слышно прошептал его имя.

Так они стояли, пожалуй, еще секунд пять, Джордж Смит жадно разглядывал песчаный фриз, а художник присматривался к нему с насмешливым любопытством. Джордж Смит открыл было рот — и закрыл, протянул руку — и отдернул. Шагнул к картине, отступил. Потом пошел вдоль вереницы изображений, как шел бы человек, рассматривая бесценные мраморные статуи, оставшиеся на берегу от каких-нибудь древних руин. Он смотрел не мигая, рука жаждала коснуться изображений, но не смела. Хотелось бежать, но он не побегал.

Вдруг он посмотрел в сторону гостиницы. Бежать, да! Бежать! А что дальше? Схватить лопату, вынуть, выкопать, спасти хоть толику ненадежной, сыпучей песчаной ленты? Найти мастера-формов-

щика, примчаться с ним сюда, пускай сделает гипсовый слепок хотя бы с малой хрупкой доли? Нет, нет. Глупо, глупо. Или?.. Взгляд его метнулся к окну гостиничного номера. Фотоаппарат! Бежать, схватить аппарат — и скорей с ним по берегу, щелкать затвором, перекручивать пленку, снимать и снимать, пока...

Джордж Смит круто обернулся, глянул на солнце. Теплые лучи коснулись его лица, зажгли два огонька в зрачках. Солнце уже наполовину погрузилось в воду — и на глазах у Джорджа Смита за считанные секунды затонуло совсем.

Художник подошел ближе и теперь смотрел в лицо Джорджу Смиту с бесконечно дружеской добротой, будто угадывал каждую его мысль. И вот слегка кивнул. И вот пальцы его небрежно вырвали палочку от мороженого. И вот он уже говорит: до свиданья, до свиданья. И вот он шагает по берегу к югу... ушел.

Джордж Смит стоял и смотрел ему вслед. Так прошла долгая минута, а потом он сделал то, что только и мог. От самого начала он двинулся вдоль фантастического фриза, медленно шел он по берегу мимо фавнов и сатиров, и мимо дев, пляшущих на виноградных гроздьях, и горделивых единорогов, и юношей, играющих на свирели. Долго шел он, не сводя глаз с этой вольно летящей вакханалии. Дошел до конца вереницы зверей и людей, повернул и пошел обратно, все так же опустив глаза, словно что-то потерял и не знает толком, где искать. Так

ходил он взад и вперед, пока не осталось света ни в небесах, ни на песке и уже ничего нельзя было разглядеть.

Он сел к столу ужинать.

— Как ты поздно, — сказала жена. — Я не могла дожждаться, спустилась в ресторан одна. Я умираю с голоду.

— Ну ничего, — сказал он.

— Интересная была прогулка?

— Нет, — сказал он.

— Какой-то ты странный, Джордж. Ты что, заплыл слишком далеко и чуть не утонул? По лицу вижу! Ты заплыл слишком далеко, да?

— Да, — сказал он.

— Ну хорошо, — сказала жена, не сводя с него глаз. — Только никогда больше так не делай. А теперь... что будешь есть?

Он взял меню, стал просматривать и вдруг застыл.

— Что случилось? — спросила жена.

Он повернул голову, зажмурился.

— Слушай.

Жена прислушалась.

— Ничего не слышу, — сказала она.

— Не слышишь?

— Нет. А что такое?

— Прилив начался, — сказал он не сразу, он все еще сидел не шевелясь, не открывая глаз. — Просто начался прилив.

Дракон

Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянные среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность, — отвечает тот, другой. — Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище. Боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти...

— А чего ради? Ну чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Тсс... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивали спины коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремена.

— Страшные наши места, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце — и сразу ночь. И уж тогда, тогда... Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются врассыпную и, обезумев, издыхают. Женщины рожают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усеяны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступили против этого чудовища и погибли, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоест! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от Рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу, а там все не так, города как не бывало, жители еще и не